

АРИАДНА ГРОМОВА

В КРУГЕ
СВЕТА

Ариадна Громова
В круге света

«Public Domain»

1965

Громова А. Г.

В круге света / А. Г. Громова — «Public Domain», 1965

«Все началось неожиданно... Впрочем, я ведь знал и все знали, что так это и будет – неожиданно. Наступит какое-то последнее утро... или день, или вечер, все равно, а потом... потом – это можно было тысячу раз представлять себе по-разному. Но своего, этого варианта я не предвидел. Мне он и сейчас кажется самым невероятным из всего, что могло случиться. Со мной или с кем угодно другим, неважно. Иногда мне кажется, что я схожу с ума... Да это, наверное, так и есть! Но тогда... что же будет тогда с ними? Они ведь теперь целиком зависят именно от меня, от моего сознания, от моей воли, от моей любви...»

© Громова А. Г., 1965

© Public Domain, 1965

Ариадна Громова В круге света

Все началось неожиданно... Впрочем, я ведь знал и все знали, что так это и будет – неожиданно. Наступит какое-то последнее утро... или день, или вечер, все равно, а потом... потом – это можно было тысячу раз представлять себе по-разному. Но своего, этого варианта я не предвидел. Мне он и сейчас кажется самым невероятным из всего, что могло случиться. Со мной или с кем угодно другим, неважно. Иногда мне кажется, что я схожу с ума... Да это, наверное, так и есть! Но тогда... что же будет тогда с ними? Они ведь теперь целиком зависят именно от меня, от моего сознания, от моей воли, от моей любви...

По-видимому, я должен торжествовать – моя теория, моя вера победили. Но какая странная, горькая победа! Зачем теперь все это? Кому я расскажу? Им? Но им-то как раз и нельзя ничего рассказывать. Если б я мог, я бы скрыл от них вообще все. Но этого не скроешь.

Я даже не могу представить себе, что сейчас творится в Париже. Радио умолкло сразу. Кругом все мертво. По ночам на востоке над холмами встает тусклое багровое зарево. Что это? Отсвет пожаров, свечение радиации или просто продолжают пылать пережившие людей знаменитые огни ночного Парижа?

Недавно мы с Робером видели фильм... Странный, очень грустный фильм. Я долго не мог отделаться от глубокой печали, которую навяли кадры этого фильма... Впрочем, там были не кадры в обычном смысле слова, а чередование статических фотоснимков – будто подлинные документы. Третья мировая война там изображалась так. На Париж (он снят с птичьего полета) ложится тень. Потом тень исчезает – и половина Парижа лежит в развалинах. Трижды падает эта трагическая тень на Париж. Под конец – города нет. Торчат обломки Триумфальной арки, оплавленные, изуродованные конструкции Эйфелевой башни; тени домов, тени улиц. «Немногие уцелевшие укрылись в подвалах дворца Шайо», – говорит печальный голос диктора.

Что ж, может, так оно и есть на деле и где-то укрываются уцелевшие. А может, это пустая надежда... Мы с Робером за последнее время почему-то смотрели много фильмов о грядущей войне. Были очень страшные. Но на меня сильно подействовал этот, американский, не помню, как он назывался. Где от всей Америки уцелел экипаж одной подводной лодки, а от всего человечества – население Австралии. И то на время, все они обречены, незримая волна радиации неотвратимо движется на них. Да... интересно, жив сейчас режиссер, что делал этот фильм? Вряд ли... на таких фильмах капитала не сколотишь, так что атомного убежища у него нет...

Там, в этом фильме, американские моряки долго не могут поверить, что все, вот так сразу, кончено, что нет их семей, нет Америки. Они слышат таинственные беспорядочные радиосигналы откуда-то из Сан-Диего и все надеются: может, кто-то все же остался в живых и вот подает сигналы. Потом оказывается, что по ключу рации стучала бутылочка из-под кока-колы: она зацепилась за кольцо шторы, колеблемой ветром.

У меня тоже была своя бутылочка... Впрочем, кто знает, что это было, – может, и вправду живая душа. Вон в том доме на склоне холма по вечерам загорался свет. В одном только окне. Раньше – всего неделю назад! – там жила большая семья. Я часто видел детей, носившихся по берегу Сены вперегонки с великолепным серым догом; видел юношу, ездившего на мотоцикле; иногда вывозили на кресле старика. Воспоминание об этом старике меня ужасает: а что, если он остался в живых и зажигал свет в своей комнате, чтобы дать о себе знать? Уже два вечера света нет...

Нас семеро тут, в вилле у подножия холма. И это все, что осталось от человечества? Возможно... Вот она, третья мировая война! Год от рождества Христова 19..., июль, солнечный французский июль... До самой последней минуты все верили, что как-то обойдется. Ведь и раньше бывали такие ситуации, что казалось, еще секунда – и все полетит к чертям. Вот и

полетело в конце концов. Интересно, кто первым нажал ту знаменитую кнопку? Хотя какая разница теперь...

Снова и снова я думаю: а если еще кто-нибудь уцелел? Не таким странным образом, как мы, а более естественно? Ну, в противоатомных убежищах, например, или на подводных лодках, как в том фильме... Или в горах, где-нибудь в Тибете. Хотя кто знает, где и как это началось... Ну, все равно – не может быть, чтобы всюду так уж одновременно... Где-нибудь подальше от главных очагов пожара, возможно, успели принять меры. Тогда... Впрочем, что тогда? Медленное угасание? Нет, если спаслось много людей и среди них ученые, кто знает, может, у человечества и есть надежда на спасение, на медленный, трудный путь – куда? Неужели опять в прошлое, по замкнутому кругу? Неужели?..

Странно, что я многого не могу вспомнить уже сейчас, через неделю. Помню мирное, очень ясное и теплое утро. Я собирался ехать в Париж, к Роберу Мерсеро, мы с ним договорились... О чем? Ах да, его опыты с электродами. Он обещал продемонстрировать мне, как это делается. Да, Робер... Я его почему-то теперь боюсь. Впрочем, сейчас я всего боюсь, и самого себя в особенности... Итак, я собирался поехать в Париж... Я помню даже, что вывел машину из гаража... Вот сейчас мне почему-то кажется, что я был в Париже, в кабинете Робера... Нет, это, конечно, чушь, я не мог там быть. Да, это он ко мне приехал, а не я к нему. Он был уже на полпути к нашей вилле, его машина подпрыгнула на шоссе от страшного подземного толчка, он обернулся, увидел вдалеке над холмами сияние яркой вспышки и погнал машину изо всех сил... А мы... да, мы тоже все увидели и поняли. Мы ждали неминуемой гибели, но все же наглухо закрыли окна и двери и сели внизу, в большом сумрачном холле. А потом появился Робер. И вместе с ним – отец и Валери.

Вот это самое странное! Почему они именно в эту минуту решили отправиться ко мне? Отца я не видел три года, а Валери... если не считать случайных встреч на улицах и в театрах, мы с ней не виделись уже девятнадцать лет. Почему она... Ну, я понимаю, Шарль умер, а она ведь тоже всегда боялась одиночества... Поэтому так все и вышло тогда, во время войны...

Нет, все это не поддается логическому объяснению. Робер смеется надо мной, он говорит, что моя теория вообще построена не на логике, а на вере. Пусть так, но я не во все могу поверить. Почему именно в этот день отец решил навестить меня? Он говорит – старость, одиночество. Да, конечно. Одиночество! Они словно сговорились с Валери! Впрочем, оба они хорошо знают, как я всегда боялся одиночества, и понимают, что это объяснение я приму охотней, чем всякое другое. Но ведь Женестьева умерла три года назад – почему же он только сейчас решил приехать? Тогда, на похоронах Женестьева, я уговаривал его переехать к нам – он наотрез отказался.

Ну, допустим, он все же передумал. Как-никак ему семьдесят три года, хоть он и выглядит намного моложе. Но Валери! Пускай тысячу раз одиночество – но искать спасения от одиночества в доме своего бывшего мужа, в его семье? И я должен в это верить? Впрочем, Робер прав: она действовала не рассуждая. Как только первый приступ горя миновал, она почувствовала себя бесконечно одинокой и кинулась ко мне, потому что больше было некуда. И потом Констанс – она ведь такая спокойная, мягкая, рассудительная, Валери это знает... Вообще прошло девятнадцать лет, все изменилось и вне и внутри нас... А все же... если это моя любовь удерживает их всех в жизни, то, может быть, моя любовь и собрала их всех здесь в минуту опасности? Это, правда, уж совсем похоже на мистику, но они появились именно в этот момент, все трое... И Робер... А ведь я должен был ехать к нему в Париж... Странно, теперь я уже не могу понять, как мы с ним уговорились, все путается... да, да, лучше не думать об этом, ведь это в конце концов несущественно.

Итак, на исходе первая неделя третьей мировой войны. Мы – возможно, последние остатки человечества – сидим в наглухо замкнутой вилле среди отравленной пустыни. Чего мы

ждем, на что надеемся? Конечно, на то, что погибла не вся Земле, что где-то есть люди. Будем держаться до последнего... До последнего – чего? Что нас держит?

Не могу понять, откуда у меня эта глубокая, подсознательная уверенность, что надо выдержать, что все держится на мне, все зависит от меня. Я не могу объяснить, что это. Просто свойство человека – надеяться вопреки всему? И Робер... Он верит тоже. Почему? Иногда мне кажется: он знает что-то неизвестное мне. Но что? Что можно знать теперь о мире? А вдруг он поймал сигналы? Но как же он может молчать об атом?

«Ну вот, контакт налажен... отчетливость поразительная, я бы не поверил заранее... хотя что удивительного после такой подготовки... Во сколько сможем выдержать мы оба?.. Теперь попробуем включить ток... Это даст передышку... если только... Ну, тут уж приходится действовать наудачу... Будем искать...»

Боже, почему я вдруг вспомнил эту встречу с отцом? Я ее даже и не помнил в общем. А теперь вижу все так ясно, будто мне снова шесть лет и мы сидим с отцом на скамейке в парке Монсо. Вот странно, я впервые вижу, что отец сидит, неловко вытянув правую ногу, и опирается на тросточку, – а ведь верно, он после войны не сразу вернулся домой, долго лежал в лазарете. С ногой было неладно и с легкими, кровохарканье не унималось. Я все это знал со слов матери. А сейчас вижу...

Яркое весеннее солнце, удивительно яркое, даже глаза слепит, но от него весело. Деревья и кусты в легкой желтоватой дымке. Над нашей скамейкой – старый каштан; я оборачиваюсь и вижу, что почки уже лопнули, от них остались клейкие коричневые чешуйки, а листья, очень яркие, глянцевиные, еще не развернулись и похожи на маленькие сморщенные лапки. Я все время верчусь и болтаю ногами. Башмаки у меня стоптанные, на правом – аккуратная маленькая заплатка, покрашенная чернилами. Это мама красила вчера вечером. Отец тоже смотрит на мои башмаки и не то вздыхает, не то кашляет. Лицо у него землистое, усталое. Странно, я даже не помнил, чтоб он носил усы. Ах да, на свадебной фотографии, но там – маленькие, аккуратные, а эти – большие, некрасивые и вниз свисают. Но я сейчас же перевожу взгляд на аллею. Там движется что-то непонятное: половина человека. Это страшно. Я, наверное, не Хотел этого помнить, а сейчас я чувствую, как мне было жутко тогда. Бледное, измученное яйцо запрокинуто, глаза жмурятся от ярких лучей, рот растянут в гримасе усталости, и кажется, что он беззвучно хохочет.

– Папа, почему он смеется? – с трудом выговариваю я.

– Он не смеется, что ты... – Отец тяжело встает со скамьи, опираясь на палку, и подходит к калеке. – Закуривай, – говорит он и протягивает пачку сигарет. – Где это тебя?

– На Сомме, летом шестнадцатого года. Высота восемьдесят, не слышал? – хрипло отвечает тот. – Снаряд. Я один в живых остался из всего взвода, а уж лучше бы...

Мне страшно, что отец с ним разговаривает. Я осторожно сзади подбираюсь к отцу и тяну его за рукав.

– Идем! – шепчу я.

– Твой? – равнодушно спрашивает человек. – А меня, конечно, жена вытурила: на что я ей такой! С другим снюхалась, пока я по лазаретам валялся. Тебя, ясное дело, не выгонят: ноги при тебе, а что хромаешь чуть... – Он затягивается глубже и болезненно морщится. – Везет людям! Мне вот никогда не везло!

– Мы с женой тоже разошлись, – тихо говорит отец.

Я этого разговора не помнил, могу поклясться. Надо будет спросить отца. И того, что мне говорил отец немного позже, в маленьком полутемном кафе на площади Терн, где он угощал меня кофе с ванильной булочкой, я тоже не помнил. Наверное, я был занят лакомой едой – я

и сейчас чувствую, какой вкусной мне казалась эта разнесчастная булочка, да оно и не удивительно, жили мы тогда почти впроголодь.

Отец сидит, слегка откинувшись на спинку стула и вытянув ноги. Он говорит тихо, почти бормочет – не мудрено, что я его не слушал тогда.

– Клод, мой мальчик, война – это такая штука... Тебе этого не объяснишь. Но она человека всего переворачивает. Она тебя убивает. А если ты все-таки остался в живых, приходится вроде как заново на свет рождаться. И все по-другому. А твоя мама, она этого не понимает. В тылу никто этого не понимает. Но твоя мама, она хорошая женщина, ничего не скажешь, ты ее слушайся, ладно?

Я киваю головой, продолжая уплетать булку. Отец вздыхает и морщится.

– С деньгами вот плохо, – говорит он доверительно, как взрослому. – Работать я пока не могу, сам видишь...

Да, понятно, почему его не принимали ни в один магазин, хоть он был хорошим продавцом. Он хромой, лицо у него истощенное, серое. Мать мне говорила, что он хватался за любую работу, но отовсюду его выгоняли, как только появлялся здоровый и сильный конкурент. Мать была уверена, что, если б не это его увечье, все сложилось бы иначе и мы жили бы по-прежнему вместе.

– Они все вернулись из окопов какие-то чудные, – говорила она, – но у других это прошло понемногу, а ему, видишь, с работой не повезло, вот он и озлился. А тут еще эта гадина появилась, купила его задешево... Подумаешь, счастье какое – быстро в Бельвилле! Грязная дыра на вонючей улице...

Эти разговоры я хорошо помню, они часто повторялись.

– Мы с тобой будем часто видеться, да, сынок? – бормочет отец и, протянув руку через стол, треплет меня по голове – рука у него большая и горячая. – И ты на меня никогда не сердись, ладно? Я ведь не виноват, что война была. И никто не виноват. Только – или бы уж всем воевать, чтобы все друг друга понимали, или никому. Никому-то – оно, конечно, лучше...

Он долго молчит. Я смотрю на его длинные смуглые пальцы, отбивающие военный марш на грязном столике, потом перевожу взгляд на темный, в полоску пиджак, на галстук бабочкой. Хозяин кафе оглушительно зевает, я с интересом присматриваюсь к нему: какой он толстый, и вот уж усы так усы! В кафе душно, пахнет ванилью и жженым кофе, с улицы ложится широкий сноп света, надвое разрезая узкий темный зал. Ослепительно сверкают в луче бутылки на стойке. На одной из них – яркая этикетка, изображен негр.

– ...А нам с ней все равно не жить вместе, – бубнит отец. – Ты уж не сердись, малыш. Это все война. А Сесиль не понимает... Только это чистая правда, и ничего уж тут не поделаешь... Если б не эта проклятая война... Может, это и потому, что мы с ней четыре года не виделись...

Вот как это было, значит. Кто знал, что через четверть века я буду опять слышать эти слова: «Война... ничего уже не поделаешь... почти шесть лет, Клод! Если б не эта война... Я думала, что ты не вернешься. Мне ведь сказали, что ты убит... Я ждала... а потом...» Она ждала год. «Всего год», – думаю я. «Целый год одиночества!» – говорит она.

Да, уж этот-то разговор я помню и никогда не забывал. Помню голос Валери, ее лицо – я все время глядел ей в лицо, стараясь понять, что произошло. Очень хорошо помню, как надсадно жужжала большая муха, колотясь о стекло. Помню запах табака в комнате, в нашей комнате. «Ты куришь?» – удивился я. «Нет, нет!» – поспешно ответила Валери. И запнулась. Я увидел белую мужскую сорочку на спинке стула и опять ничего не понял. Я даже обрадовался: мне показалось, что Валери ждала меня и начала готовить одежду. Я шагнул к стулу, взял сорочку, она почему-то была очень большая. И тогда Валери сказала за моей спиной совсем чужим, сдавленным голосом: «Я... прости меня, Клод... я замужем...» Я круто повернулся, словно меня поленом хватили, и уставился на нее.

Можно тысячу раз все себе представить заранее, и не поверить, и надеяться на лучшее. Мы в лагере узнавали многое – большей частью случайно. У одного всю семью отправили в лагерь, у другого умерла мать, третьего жена бросила. Все это дела обычные, в лагере то и дело слышишь такие истории. Но все равно думаешь – нет, со мной этого не будет! Не то что думаешь, а веришь, и все тут. Иначе не выжить. И потом – разные бывают браки. Но мы-то с Валери были созданы друг для друга. Поэтому Валери и оказалась тут, в круге света, через столько лет. Мы просто не переставали любить друг друга никогда. Мы могли годами не видеть друг друга, но если с Валери случалось несчастье, я об этом узнавал. Когда она упала и сломала руку, я увидел это, увидел крутую улочку на Монмартре, увидел, как Валери падает, и ощутил толчок падения и на миг – резкую боль в левой руке. И так было всегда.

А Констанс... Впрочем, что ж! Значит, мне так суждено – любить всю жизнь двух этих женщин, любить по-разному, но одинаково сильно. И теперь обеих одинаково удерживать в жизни своей волей и любовью... И если я не удержу... Нет, я не вынесу этой ответственности, я всего лишь человек, я не могу, чтобы жизнь других людей зависела от того, достаточно ли сильно я люблю... от того, достаточно ли я уверен в своей любви... Этого никто не сможет выдержать, даже самый сильный!..

Что со мной делается? Я немедленно ухожу от размышлений и опасных сомнений, переключаюсь на что-то другое, на воспоминания. Наверное, психика автоматически экранирует очаги слишком сильных переживаний, предохраняясь от перегрузки...

«А, bravo! Это ведь он сам придумал! Хорошая мысль, надо ее подкрепить. Но почему он опять волнуется? Что он видит? Фронт... Нет, это ни к чему...»

Не понимаю, что со мной творится... Только что я вспомнил войну... Да нет, даже не вспомнил, не то слово: просто мне показалось, будто я снова сижу на бревне у блиндажа и слушаю, как Селестен Нуаре поет какую-то развеселую песенку. Это линия Мажино в Арденнах, неподалеку от Живе. Ноябрь тридцать девятого года, «странная война», мы, собственно, и не воюем, а стоим на бельгийской границе, мерзнем, мокнем и проклинаям все на свете. Я слушаю песню и ощущаю привычную глухую боль в сердце – это тревога за Валери, тоска по Валери. Вечер после дождя – багровый закат с темно-фиолетовыми рваными тучами, и лужи красные, словно в них кровь, а не вода, и вся холмистая равнина вокруг блестит мрачным, резким блеском. Я смотрю на широкое смуглое лицо Селестена, на его блаженно прижмуренные глаза. Он сидит рядом со мной, я вижу каждую складку на его шинели...

И вдруг все исчезло: и песня, и мрачный резкий свет, и сырой ветер... Надо мной сияет летнее солнце, такое ясное, мирное, безмятежное, а войны и в помине нет. Я выхожу из реки на берег, поросший травой, чувствую под босыми ступнями эту примятую шелковистую траву и прохладную, чуть влажную упругую землю, дышу свежестью воды и зелени. Капельки воды высыхают на теле, я чувствую, как приятно они щекочут кожу. Молодость, счастье, ощущение полета! Кажется, касаешься земли только потому, что тебе хочется почувствовать ее прикосновение.

Валери сидит на траве и смеется. Смуглая, кареглазая семнадцатилетняя девчонка. Все исходит от нее: и солнце, и трава, и река, и счастье. Как она красива! А может, и не очень красива, это ведь неважно. Просто – в ней для меня все. Как я жил раньше, не понимаю. Мне уже двадцать два года. Я мог встретить ее раньше, хотя бы на год! Ну, ничего, у нас все впереди.

Валери – в легком платьице, белом, в синих цветах. На загорелых ногах – белые туфельки с пряжками. Темные пушистые кудри коротко подстрижены в кружок – странные прически тогда носили... Впрочем, Валери все к лицу. Даже серьги. Маленькие золотые, с бирюзой сережки. Я и забыл, что она носила серьги тогда.

Сверкающая река и смеющееся девическое лицо исчезают... Почему я сижу здесь один? Надо пойти посмотреть, что с другими.

Так, Констанс на кухне. Ее светлые волосы светятся в солнечном луче, как корона. В ней и вправду есть что-то царственное: осанка, походка, это лицо, спокойное, ласковое и строгое, редко меняющее выражение... Я прожил с Констанс девятнадцать лет, но до сих пор она мне кажется иногда загадочной. Валери, со всеми ее бесконечными переменами настроения, с ее лицом, на котором отражалось все, даже тень облачка, проплывшего в небе, казалось, оставляла след на этом смуглом подвижном лице, – Валери я знал и понимал всегда. Пока мы не расстались на шесть лет... А Констанс...

Констанс поворачивается ко мне, лицо ее спокойно и светло.

– Ты ошибаешься, – говорит она низким звучным голосом. – Ты не видел в Валери очень важного: ее слабости, ее постоянной потребности в защите. А во мне ты видишь и понимаешь все самое важное. Но тебе все еще хочется видеть во мне черты Валери, и ты не можешь поверить, что мы с ней совсем разные. Не можешь поверить потому, что любишь нас обеих...

Неужели она это сказала? Нет, мне почудилось, должно быть. Констанс опять стоит вполоборота ко мне и помешивает ложкой в кастрюле. Да, теперь, когда нет нашей Софи...

– Ты не должен об этом думать, – быстрее обычного произносит Констанс.

– Это от тебя не зависело, ты же сам понимаешь.

Я смотрю на нее, похолодев. Такой совершенной связи у нас никогда еще не было. Что ж, она прямо читает мои мысли? Нет, невозможно. Наверно, она увидела рядом свой образ и образ Валери, уловила мои сомнения. Потом увидела Софи, поняла, что меня терзают угрызения совести.

Да, Софи – такой, какой я ее видел в последний раз... Она приработала у нас восемнадцать лет, заменила нам мать. Я был уверен, что она в Светлом Круге... И вдруг я понял – нет! Что она поняла, что почувствовала – не знаю. Она стояла у двери и смотрела на меня своими узкими карими глазами в темных набрякших веках, ее лицо выражало лишь бесконечную усталость. Она медленно развязала передник, положила его на стул у двери, медленно покачала головой. Я молча глядел на ее высокую худую фигуру в синем платье – она так четко вырисовывалась на белом фоне двери. Потом дверь открылась, снова закрылась... Софи уже не было, и я знал, что это значит: ее нет вообще, и я тут виной, моя эгоистическая любовь. Софи была очень нужна мне и всем нам, но, значит, я не любил ее по-настоящему... Еле переступая, я побрел по дому; мне казалось, что уже никого нет: почему я знаю, кого люблю по-настоящему! И сейчас не знаю. Вспоминать о Софи – все равно что поворачивать нож, торчащий в теле; и я знаю, что тут не только угрызения совести, но и тоска и любовь... Почему же я не смог ее удержать?

– Ты понял, что любишь ее лишь после того, как ее уже не стало, – не поворачиваясь ко мне, тихо говорит Констанс.

Нет, это слишком много, даже для нас с ней! А впрочем – почему бы и нет, в таких условиях? Ведь телепатические способности обостряются в час смерти или смертельной опасности. Правда, обычно в таких случаях речь шла о минутах; сейчас это состояние растянулось на часы и дни... Да, и вот лагерь, там тоже...

И вообще – о чем я думаю? Разве это обычный случай телепатической связи? Разве это не мы с Констанс, не самые близкие друг другу люди, связанные этой странной, загадочной связью уже долгие годы... почти девятнадцать лет? Разве эта способность не могла как угодно обостриться и трансформироваться в таких чудовищных, невероятных условиях? И что я знаю о природе той связи, которая сейчас удерживает всех нас в живых? Робер все-таки прав – то, что я делал, всегда относилось больше к интуиции, чем к логике, больше к вере, чем к познанию. Но разве это моя вина? Да, я слишком мало знал, я шел на ощупь, добивался случайных результатов и довольствовался ими. Но разве кто-нибудь знает об этом и вправду больше?

Больше того, что я постиг путем опыта? Я ведь не ученый – то есть в этой области я не был экспериментатором, не вел продуманных, планомерных исследований, вроде тех, какими занимался последние лет десять «по долгу службы», изучая физиологию ретикулярной формации. Или тех, какие вел Робер со своими пациентами.

Да, странно, что именно Робер после войны начал заниматься парапсихологией, гипнозом, а я – я этого боялся как огня. Единственное, на что я согласился – и то из-за Робера, чтоб быть поближе к нему, чтоб работать в одном институте с ним, – это переключиться на нейрофизиологию: я ведь до войны ею даже не интересовался. Но все равно я занялся вещами, не имеющими прямого отношения к тому, что мне довелось пережить и во время войны и потом... К тому, что определило нашу судьбу сейчас. Вся теория Светлого Круга – если эту отчаянную попытку самозащиты можно назвать теорией! – вся она возникла вне того, чем я занимался как ученый. Да и какая это действительно теория? Просто я всегда боялся одиночества. Два раза после войны было так, что я оставался одиноким среди людей. В третий раз я бы этого не вынес – так мне казалось. А если б я знал, что мне придется выносить взамен одиночества? Если б я мог предвидеть эту утонченную пытку, от которой не может избавить даже самоубийство? Боже, как я был слеп и наивен!

Нет, нет, я ни за что не стал бы заниматься опытами в этом направлении! Мои способности всегда внушали мне ужас, но в лагере они были хоть полезны людям; а после войны на что они могли пригодиться? Я даже не огорчился, когда чуть не на год вообще утратил этот зловещий дар. Правда, с Констанс эта связь мне была необходима... Впрочем, так ли уж необходима, кто знает? Просто мне казалось так... А если подумать... Но к чему теперь об этом думать, когда все уже случилось так, а не иначе и ничего не исправишь, ничего не вернешь...

Мои способности за этот долгий, чуть ли не двадцатилетний перерыв между войнами ничуть не развились, скорее несколько атрофировались от бездействия, а может, дремали, ожидая этого нового потрясения, чтоб опять проявиться, совсем по-новому, неожиданно, непонятно... Если вдуматься, так оно и было: нужна страшная, неестественная обстановка, нужно предельное напряжение всего организма, чтобы эти странные способности проявились во всю силу. Вероятно, в лагере этому способствовало и крайнее физическое истощение... Ведь недаром йоги и факиры умерщвляют плоть, как и наши христианские святые и пророки... Разве можно себе представить румяного, упитанного пророка?

А после войны это было ни к чему... Наверное, даже с Констанс можно было обойтись без этого, если б я так панически не боялся одиночества, если б не стремился проникнуть в душу Констанс, связать ее со своей душой той странной связью, которая тогда представлялась мне единственно надежной и прочной в ненадежном и изменчивом мире. Любовь, семья, дети – о, я на личном опыте убедился, как все это зыбко и непрочно! Уходит любовь, распадаются семьи, и дети никого не удерживают. Связь с душой Констанс, власть над ее душой казалась мне тогда последней надеждой, единственной защитой от одиночества, перед которым я испытывал панический, заново обострившийся ужас. Никого, кроме Констанс, у меня тогда не было – или так мне казалось. Робер женился, и мне это показалось чуть ли не изменой – ну, глупо, конечно, да что поделаешь, это все из страха перед одиночеством, из-за того, что я уже не мог просиживать целые вечера с Робером, не мог вообще жить с ним в одной квартире, а я боялся уходить от него, боялся до смерти, как пытки, как работы в каменоломне. И Робер это понимал. «Но, видишь ли, я просто не могу не жениться на ней, раз она все эти годы ждала меня», – смущенно сказал он. И это была правда. А впрочем, если бы даже речь шла не о Франсуазе, а о другой: что ж, ему оставаться холостяком во имя лагерной дружбы? Все это было неизбежно. И наша с ним связь была в этих условиях тоже слишком тесной; она выглядела теперь бессмысленной и даже неделикатной. Робер об этом и не заикнулся, но я сам понимал все и приложил немало усилий, чтобы потом, когда мои телепатические способности снова пробудились, обрывать все спонтанные контакты с Робером; я запрещал себе *видеть* его.

Светлый Круг – собственно, это очень давний термин, но тогда он не имел такого глубокого и страшного смысла, как сейчас. Я, кажется, впервые применил его, когда в начале нашей совместной жизни рассказывал Констанс о своем прошлом – и о своем страхе перед войной и одиночеством. Я тогда сказал, помнится, что война всегда приносила мне в конечном счете одиночество. «Оба раза было так, – сказал я. – Война разрушала светлый круг любви и счастья, который защищал меня от ударов. И для себя я боюсь войны прежде всего поэтому». Констанс тогда нашла, что «Светлый Круг» – это звучит очень хорошо, и как-то у нас с ней это определение удержалось в обиходе. А я даже не знаю толком, откуда оно взялось. Возможно, из стихов Верлена, где говорится о световом круге под лампой – символе семейного счастья и уюта. И кто мог тогда знать, какой жуткой реальностью обернется этот мирный символ!

Нет, недаром я после войны чурался телепатии, не хотел работать в этой области! Я, правда, следил за тем, что публиковалось во Франции по этому вопросу, читал «Revue Metapsychique», работы Херумьяна, Варколлье, Дюфура, кое-что из американских и русских исследований, но в клинику Робера боялся даже заглядывать. Один раз он меня все-таки затащил к себе, попросил загипнотизировать и вылечить больную, страдающую истерическим параличом, – он никак не мог наладить с ней контакта. Я согласился очень неохотно; к тому же я вовсе не был уверен, что мне удастся проделать такой опыт в обычных, не лагерных условиях. Однако опыт удался превосходно, и я сразу понял, почему она так упорно не поддавалась воздействию Робера: эта некрасивая старая дева была в него влюблена. Я увидел, как она представляет себе его поцелуи в объятия, мне стало смешно и противно, я еле смог закончить внушение и больше ни разу не появлялся в клинике... до этого утра, последнего утра перед войной... Все-таки почему мне кажется, что я был у Робера? Ведь я же не ездил в Париж...

«Поищем какой-нибудь участок. Надо бы отдохнуть, так нельзя, все может плохо кончиться...»

Что это? Как причудливо перескакивают мои мысли! И опять – какое яркое воспоминание...

Узкая, крутая улочка Лозена в Бельвилле, серый, пасмурный день, холодно – мне холодно, я в изношенной куртке, слишком короткой, синие руки нелепо торчат из рукавов. Я стучу зубами, но не от холода, я его почти не замечаю, а от волнения, от горя и недетской тоски. Я стою на пороге бистро «Под золотым орлом», а вокруг, напирая на меня, толпятся какие-то люди, я их совсем не знаю, да и почти не вижу, мне не до них. Я вижу одного отца, и то сквозь туман слез, его лицо расплывается и дробится, я отчаянно кричу, обращаясь к этому далекому, смутно видимому лицу: «Папа, ну я тебя прошу, идем домой! Я тебя очень прошу! Я без тебя не могу вернуться!» Кто-то сочувственно и насмешливо басит: «Вот разорется малец, даже сопли пустил!» Я машинально вытираю нос рукавом куртки и снова кричу: «Папа, ну, папа!» Мое плечо упирается в чей-то мягкий дряблый живот; вдруг этот живот начинается бурно колыхаться, и над моей головой раздается визгливый крик: «Негодяй, иди домой, что ты ребенка мучаешь!» Я запрокидываю голову и вижу отвисший прыгающий подбородок, широко разинутый щербатый рот, обмазанный по краям ярко-красной помадой, соломенно-желтые пряди волос, торчащие из-под заливчатской сиреневой шляпки, и мне становится страшно и противно. «Папа, – говорю я совсем тихо, и он, конечно, не слышит меня в этом шуме и гаме, – папа... я... тогда я лучше умру...» И мне вправду хочется умереть – так все тяжело, и я даже не успел сказать, что мама заболела, очень заболела, и я с ней один и не знаю, что делать, и теперь этого уже не скажешь, все шумят и кричат, а ведь я совсем не хотел устраивать скандала, я только хотел, чтобы отец пошел со мной и помог маме, но когда я увидел его лицо, то потерял голову от страха и горя и начал кричать. Еще с порога я увидел отца рядом с Женевьевой за стойкой и вдруг понял: он совсем чужой. Он не сердился ничуть, он приветливо улыбнулся

мне, но я понял, что ему совсем не до меня, а так никогда еще не было, и до этой минуты я никак не мог понять, что отец бросил нас с мамой, что он совсем ушел от нас, а теперь я все понял и ничего не мог с собой поделать, так мне стало больно...

Эту сцену я не любил вспоминать, но всегда помнил – конечно, в общих чертах, довольно смутно, мне ведь тогда и семи не было. Я, например, почти сразу потерял из виду Женеьеву и вообще толком не разглядел ее: высокая, худая, волосы рыжие, а лицо... Мне было не до ее лица, я на отца глядел: какой он ласковый, молодой, веселый – и совсем чужой мне. А теперь я вижу, что Женеьева все время так и стояла за стойкой, не шевелясь, и лицо у нее было хорошее и грустное, и она смотрела то на отца, то на меня... Как странно перемешиваются у меня чувства: тогдашняя детская обида, боль, гнев – и теперешняя спокойная печаль...

Когда я сказал, что умру, и убежал, отец догнал меня внизу улицы Лозена, сунул мне в карман деньги, дал шоколадку. Я так плакал, что ничего не соображал. Я и не заметил, как он дал мне деньги, только дома их нашел, и шоколадку тоже. И что мама заболела, так и не смог сказать, слезы не давали. Насколько помню, я очень редко плакал в детстве, но в этот день и еще три года спустя, когда умерла мать, слезы у меня сами лились, и я не мог их удержать.

Я не слышал, что говорил отец. Мама спрашивала, я сказал: «Ничего не говорил!» А сейчас я вижу, что он проводил меня до площади, которая теперь названа именем полковника Фабьена, купил билет в метро – оттуда шла линия к площади Терн, мы с мамой жили на улице Понселе. И он все время говорил, очень тихо и печально:

– Малыш, не надо так плакать, право, не надо. Вот вырастешь – поймешь, почему так получилось. А мне сейчас домой идти, ну, просто ни к чему, уж ты поверь. Мы с твоей матерью обо всем уже поговорили, что ж заново-то вольнку начинать. Она не понимает, я ж тебе говорю, ей хоть неделю подряд толкуй – не понимает, и все тут. И про Женеьеву тоже неправильно совсем говорит – будто я на ее кабачок польстился. Ты этому не верь, сынок, слышишь? Женеьева – баба душевная и горя хлебнула вдоволь. Мужа у нее на фронте убили в пятнадцатом году. Женеьева, знаешь, две недели не отходила от него, когда он умирал в лазарете, – это ведь подумать только, чего ей стоило пробиться туда, почти к самой передовой... А потом, когда он умер, Женеьева там осталась до самого конца войны, сиделкой работала... Она все понимает, вот в чем дело... Я уж лучше с ней буду, сынок. А тебя я никогда не оставляю, мы помогать тебе будем... Женеьева, она ведь добрая, очень добрая, право...

«Что он видит? Почему так волнуется?... Нет, я что-то ничего не могу уловить... Попробуем сделать перерыв...»

Я спал? Который час? Впрочем, это неважно. Который час, который день... будто не все равно... Где отец? Мне кажется, что я его давно не видел...

Они все в гостиной – и отец, и Натали, и Марк. Я молча стою на пороге. Они меня не замечают. Отец читает журнал, то и дело поправляя сползающие очки. Марк, полулежа в кресле, уткнулся в какую-то толстую книгу, Натали облокотилась на подоконник и смотрит в окно... Как ей не страшно смотреть вот так, прямо в это пыльное стекло? Или она не понимает, что пыль на стекле радиоактивная, что там, за стеклом, смерть, невидимая и неумолимая? Что только моя воля, моя любовь мешают ей проникнуть внутрь дома и убить всех нас?

Я смотрю на Натали, и сердце у меня сжимается. Какая она худая, хрупкая, бледная, какое у нее бесконечно усталое лицо... и эти короткие густые волосы, только начавшие отрастать после того... после апреля... Если б все шло нормально, Натали выздоровела бы, а теперь... Она и всегда была тоненькой, как хлыстик, но сколько в ней было жизни, веселья, энергии, пока не появился этот проклятый Жиль!.. Думает она сейчас о нем или забыла?

Марк – тот куда крепче и спокойней. Он пошел в Констанс: светловолосый, сероглазый, высокий – на вид ему все двадцать, а не шестнадцать лет. Он уже сейчас чуть ли не на голову

выше меня. Лицо у него хмурое... И вдруг я понимаю, что оно давно такое, что я не видел улыбки на лице моего сына уже много дней, может быть, недель. Почему я именно сейчас, только сейчас это сообразил? И Констанс... Она ничего не говорила...

Отец смотрит на меня поверх очков. Я не привык видеть его в очках, он завел их перед самой войной, но я как-то не заставлял его за чтением и об очках только слышал. Очки в светлой металлической оправе резко выделяются на его темном худом лице. Теперь я замечаю маленький беловатый шрам над верхней губой... почему я его раньше не видел? Или видел, но не замечал, не запоминал?

Отец снимает очки, встает и подходит ко мне.

– Это ты тогда, во время войны, был ранен? – спрашиваю я, показывая на верхнюю губу.

Отец инстинктивно подносит руку к шраму.

– Да, осколок на излете. Разворотил губу, я ведь даже усы тогда отрастил побольше, чтоб незаметно было. Ты маленький еще был, не помнишь.

Да, да, конечно, я был маленький, а вот помню, оказывается. Как жаль, что теперь уже не удастся поработать над этой проблемой – памяти активной и памяти пассивной, странных, неизвестно для чего существующих резервов мозга, заброшенных, недоступных кладовых, чердаков, подвалов нашего сознания, где вперемежку с кучами мусора и хлама, вероятно, лежат несметные сокровища, а мы об этом и не подозреваем...

– Ты выглядишь очень усталым, Клод, – озабоченно говорит отец. – Из-за этого?

Он показывает на окна, и мне становится смешно и грустно.

– Да, из-за этого, еще бы!

«Нет, это все же немислимо, – опять думаю я, – такое буквальное исполнение пророчества... мрачного пророчества Робера тогда, после истории с Натали. „Если ты всех их поставишь в такую зависимость от своей любви, ты взвалишь на плечи непосильный груз и переломишь себе хребет... А что тогда будет с ними? Ты потащишь их за собой в могилу, как древний воин, которого хоронили вместе с женами и слугами? Ты думал об этом?“

Конечно, я думал. Но тогда, в обычной мирной жизни, это не выглядело опасным. Разве это плохо, что очень близкие, любящие люди связаны между собой более тесно, более прочно и глубоко, чем все остальные? Разве плохо, что существует Светлый Круг любви и взаимопонимания среди нашего страшного, жестокого, разобщенного мира? Неужели это ошибка, даже преступление – вырваться из дьявольского хоровода замкнутых, непроницаемых, лживых лиц-масок, лиц-личин? Создать для себя хоть маленький светлый мир, где лица и глаза – живое зеркало души, где нет ни лжи, ни лицемерия, ни страха, ни злобы? Ведь должен же быть какой-то отдых, просвет во мгле, надежда на счастье? Разве не этим жив человек? Так пускай каждый идет своим путем к этой цели! Мой путь для большинства не годится – что ж! Это не причина, чтоб я им не воспользовался.

«Твой путь! – говорил Робер. – Ты идешь по доске, перекинутой через пропасть, а воображаешь, что это половица в уютной комнате. Как только ты поймешь свое заблуждение, ты сорвешься». Да. Сейчас я действительно балансирую на доске над пропастью. Но тогда?..

Тогда... Что поделать, если я больше всего на свете боялся одиночества? Возможно, это болезнь. Фобия. Бывает ведь агорафобия – страх перед открытым пространством, и для человека, который заболевает этим, невыносимо трудно даже переходить через улицу, а тем более идти по полю. Мало ли какие навязчивые, непреодолимые страхи преследуют иногда людей! Есть люди, которые боятся воды, темноты, кошек, лифтов – чего угодно. Я знал в лагере одного человека, который больше всего боялся, что его похоронят заживо, – в детстве он наслушался страшных рассказов о летаргии... Да... Жан Ламарден, высокий, долговязый, с бугристым черепом. Я помню, как он повернулся ко мне, проходя по бараку вместе с другими, чьи номера только что были названы по лагерному радио, и прошептал: «Ну, из газовой камеры живым не

выйдешь, это уж наверняка!» Я только минуту спустя понял, что означали эти последние слова: его не похоронят живым. Меня даже озноб прохватил – радоваться газовой камере... о боже!

Так вот – я боялся одиночества, и тогда, в 1945 году, это, пожалуй, уже приобрело характер фобии. Наверное, этот страх нарастал постепенно. Уход отца, а потом смерть матери впервые заставили меня ощутить одиночество. Я ненавидел Женевьеву, потому что мать говорила о ней плохо, но мне было так тяжело одному, что я перебрался жить к отцу. Конечно, это дело другое. Когда мать умерла, мне еле исполнилось десять лет. Но и то правда, что за время болезни матери – а она болела долго – я стал очень самостоятельным, научился и наше несложное хозяйство вести и подрабатывать при случае. Я мог бы, вероятно, и сам прожить, но не решился. И конечно, все это было к лучшему. Отец и Женевьева очень обо мне заботились, и, если б не они, я бы не получил настоящего образования. Разве я мог бы мечтать о медицинском факультете, если б не помощь Женевьевы? Правда, к этому времени и отец начал неплохо зарабатывать, открыл маленькую шляпную мастерскую... Но главное – Женевьева. Мне было стыдно вспоминать, как я плохо думал о ней раньше. Впрочем, она все понимала, отец был прав, и это она тоже поняла.

После второй войны одиночество было страшнее. Правда, и оно скоро кончилось, но я с ужасом вспоминаю те летние месяцы 1945 года, когда я ходил по Парижу один, без Валери, все время думая о ней, зная, что она тут, рядом, в нашей комнате на улице Сольферино, а я даже постучать к ней в дверь не имею права: она там с другим... Странно, меня почти не мучила ревность, я слишком страдал от одиночества. Не было ни Валери, ни Робера, они отошли от меня, у нее был Шарль, у него – Франсуаза, а я остался один, совсем один. И это было невыносимо страшно и тяжело, я не мог один.

Да, в лагере не было одиночества, потому что там был Робер. Если б я не встретился с Робером, все пошло бы иначе в моей жизни, совсем иначе. Вероятней всего, я еще тогда, в первые месяцы плена, сошел бы с ума или покончил самоубийством – так терзала меня разлука с Валери, так тревожило ее непонятное молчание. А если б я и остался в живых, то мои телепатические способности не проявились бы так ярко. Самое большее – мне иногда удавалось бы видеть Валери: с этого ведь началось, этим бы и кончилось.

У меня эти способности были с детства, только проявлялись очень редко. Я, например, сразу узнал, когда умерла мать в больнице. Это было утром, я стоял у стола и жевал холодную картофелину, оставшуюся от ужина: лень было готовить завтрак. И вдруг меня будто ледяным ветром обдало, и я понял, что мать умерла, – не знаю почему, но понял сразу и не ошибся. Года через четыре я напугал Женевьеву – готовил уроки и вдруг вскочил и крикнул: «Боже! Отца машина задавила!» Я даже видел вывеску бакалейщика на углу улицы, где это произошло, видел усатого шофера грузовика. Отец тогда долго лежал в больнице...

А с Робером у меня все началось чуть ли не с первого взгляда. Я стоял у дверей барака. Высокий смуглый юноша в форме пехотинца почти пробежал мимо, перепрыгивая через свинцовые, рябые от ветра лужи. И вдруг он резко остановился, повернулся ко мне. С минуту мы молча глядели друг на друга.

– Как тебя зовут? – спросил он наконец. – Я Робер Мерсеро.

– Я Клод Лефевр, – сказал я, не сводя с него глаз.

Мы, конечно, могли и раньше встретиться. Оба коренные парижане, оба медики. И возможно, все было бы примерно так же: ощущение прочной духовной связи, родства душ... Но в условиях лагеря все это приобрело обостренную и странную форму. Робер уверял меня, что тогда, при первой встрече, он остановился лишь потому, что его поразил мой напряженный взгляд, мои глаза. Кто знает, может, это так и есть. Активной стороной в нашей лагерной дружбе действительно был я. Активной или пассивной – это уж с какой точки зрения смотреть. Просто мне эта дружба была необходима, а Робера она поначалу тяготила, хоть он и любил меня. Потом, в гестапо и в концлагере, он иначе относился к нашей мысленной связи и даже

научился извлекать практическую пользу из моих способностей, но вначале... Ну, это понятно: разве легко ощущать, что в любую минуту кто-то, пусть и очень дорогой тебе человек, может узнать, о чем ты думаешь, или увидеть тебя, когда ты не подозреваешь об этом. В лагере это не так неприятно, как в обычной жизни, ведь в лагере ты никогда не бываешь наедине с собой, и мысли как-то проще, конкретней, приземленной, но все же... Робер о телепатии кое-что слышал раньше, но, как и большинство людей, не придавал этим разговорам никакого значения. Я для него был поразительным открытием. Дикарь на его месте объявил бы меня богом; средневековый человек сказал бы, что я одержим дьяволом; Робер Мерсеро, дитя XX века, посмеивался и поддразнивал меня, уверяя, что мне было бы полезней установить постоянную телепатическую связь с начальником лагеря, чтоб всегда быть в курсе его затей; на деле, однако, Робер хоть и любил меня, но слегка побаивался. Даже не то что побаивался, но...

Да, с ним это было уже настоящей телепатической связью. Я в любую минуту мог увидеть его, прочесть его мысли. Он – нет. Вначале. Потом и у него стала проявляться эта способность. Особенно в концлагере.

Воспоминания, нескончаемой чередой идущие воспоминания. Они начинают уже мучить меня, слишком они навязчивы – и те, яркие и неожиданные, вдруг всплывшие из неведомых провалов сознания, и те, что неотступно следуют за мной всю жизнь. Память – страшный дар, я это знаю по всей своей прежней жизни. Мне не надо было помнить в лагере о счастье и уж тем более не следовало так много помнить о лагере потом. Другие не все запомнили и редко вспоминали. Я запомнил слишком многое, я вспоминал слишком часто, и это сломало мне жизнь, отравило душу. Будь ты проклята, память, оставь меня в покое хоть сейчас, перед смертью, пожалей! Память о лагере, память о смертях и муках, унижении и позоре, память о страхе, непрестанном страхе, увечающем душу! Разве ты, сама по себе, не новый, изощренный вид пытки? Пытки, сконструированной как бомба замедленного действия? Чем дальше, тем сильнее терзает меня эта жестокая лагерная память, наследство страшных лет, тем больше отравляет и глушит она другую, светлую, благодарную память о счастье, о юности, о красоте, о любви, о свободе. Все обесценивается, обесцвечивается под ее разьедающим пристальным взглядом, и я снова, все чаще, чувствую себя узником N19732, вечным лагерником, у которого один путь к свободе – через трубу крематория.

Отец бормочет что-то успокаивающее и медленными, старческими, совсем уже старческими шагами отходит к своему креслу. И спина у него уже согнулась, и голова слегка трясется – боже, как он сразу постарел после смерти Женевьевы, да и что удивительного, какая это была верная подруга, и прожили они вместе целую жизнь... в самом деле, 42 года! Как я жалею его, как люблю... «Люблю? – спрашиваю я вдруг себя и вздрагиваю, словно от удара плетки. – А если – нет? А если – недостаточно?»

Нет, это тоже дьявольски хитрая пытка! Подлая, отвратительная пытка, бесчеловечная, унижительная! Поставить все в зависимость от моих чувств! Да какое же чувство, какая воля выдержит такой противоестественный груз и не надломится? Почему от меня можно ожидать того, чего не могли бы ждать от самых сильных?

«Кому ты жалуешься? – спрашиваю я себя. – Ведь некому жаловаться. Никто не в силах помочь тебе. Как на допросе. Как в лагере. Как да страшной крутой лестнице из каменоломни. Камень, который ты несешь на согнутой спине, непосильно тяжел, но, если ты упадешь под этой тяжестью, ты погибнешь сам и вдобавок столкнешь в пропасть других – тех, кто идет следом за тобой. Держись, тебе нельзя падать... Еще шаг, и еще шаг, и еще, и так без конца, под неумолимо палящим солнцем или под ледяным ветром...»

И все же это не то. Мускулы могут в конечном счете подчиниться воле. А любовь? Разве она зависит от воли, от добрых, от самых прекрасных намерений?

Любовь... В спорах с Робером – а мы часто спорили за последний месяц, когда Робер вернулся из Америки, – я всегда утверждал, что это и есть самая прочная и надежная защита, что разум не может спасти мир, разум сейчас поставил мир перед угрозой гибели и не в силах отвести эту угрозу. Только любовь, дружба, извечные, простые чувства, которые естественно и крепко соединяют людей и дают им силу жить, – только они могут противостоять гибели и хаосу.

– Всеобщая дружба? Всеобщая любовь? – сардонически улыбаясь, спрашивал Робер. – Оно бы, может, и неплохо, но ведь ты не об этом думаешь. Ты просто маскируешь словами свое дезертирство с поля боя. Пускай, мол, человечество устраивается, как знает, а мне – лишь бы семья хорошая была. Поразительно, как ты с твоим талантом и с твоей душой после всего, что пережито нами, мог скатиться в мещанское болото, стать шкурником, эгоистом, самодовольным обывателем!

Робер знал, что не прав, когда говорил мне все это. Он хорошо понимал, что я ненавижу мещан не меньше, чем он сам. А уж что касается самодовольства... Но он опять, как всегда, как в лагере, добивался, чтоб я шел его путем, а не каким-либо иным... А я и сейчас не знаю, правильно ли я поступал, когда вопреки самому себе делал то, чего хотел он. Может быть, я должен был искать свое... Впрочем, что я тогда знал! Когда мы встретились, мне было двадцать семь лет, а Роберу – двадцать три, но в нашем союзе старшим и более сильным был он. Это Робер организовал побег из эшелона; это он был одним из самых смелых, находчивых, энергичных работников подпольной организации там, в филиале Маутхаузена, куда мы попали после гестапо. Из-за него и я стал смелее, активней – вероятно, лучше и честней. Но все, что я делал в лагерях, было из-за Робера и для Робера. А теперь он и это считает моим недостатком... Конечно, со своей точки зрения он прав, я его понимаю.

«Пожалуй, напрасно он так много об этом думает... И главное, так волнуется... Все, оказывается, гораздо сложнее, чем я думал... А Впрочем, чего же можно было ждать?»

Воспоминания... Опять воспоминания... Как странно-ярко светит солнце – такой праздничный, щедрый, веселый свет! Где это я? Ну да, все ясно. Мы жили тогда в XIV округе, на шумной улице Алезиа. А маленькая Роз, дочь бакалейщика, жила рядом, на улице Саррет. Нам с ней было по тринадцати лет, и это была моя первая любовь. Я хорошо помнил всегда, что я испытывал, увидев Роз хоть издали. Я помнил ее звонкий, резковатый, но мелодичный голос – голос взрослой девушки; ее выразительные зеленоватые глаза, ее странную улыбку – когда Роз улыбалась, мне казалось, что она сердится. Но я многого о ней не помнил, а может, и не знал. Сейчас я вижу, как она идет ко мне под ярким солнцем, кокетливо склонив голову набок, и испытываю то детское чувство, смесь восторга и страха, счастья и жгучего стыда, которое запомнилось мне на всю жизнь, и одновременно странное, горькое и грустное чувство переоценки, гибели прежних бесспорных ценностей.

Прежде всего я с изумлением вижу, что Роз некрасива. Глаза у нее действительно живые и выразительные, но детской прелести в них нет – это глаза маленькой женщины, порочные, жадные, насмешливые. Рот у нее большой и бледный, лицо землистое, шея длинная, худая, голова кажется слишком крупной для ее маленького, тщедушного тела. Это дитя парижской улицы, рахитичное, малокровное, чуть ли не от рождения посвященное во все тайны жизни. Теперь я понимаю, почему Женевьева была недовольна, когда видела меня в обществе Роз.

Роз – в немисливо коротком зеленом платье, с поясом на бедрах и с короткой складчатой оборочкой вместо юбки, почти ничего не прикрывающей. Платье вдобавок так вырезано и спереди, и сзади, и под мышками, что Роз шагает почти голая, но это ее ничуть не смущает – такова мода, даже пожилые дамы до предела укоротили юбки и увеличили вырез декольте. Вот идет одна, толстая, как мопс, раскрашенная, увешанная побрякушками. Я и Роз провожаем ее

взглядом и фыркаем – как смешно, какие толстые ноги, какая жирная, дряблая шея и грудь, и что ей гнаться за модой, ведь старуха, ей уже тридцать, наверно, а может, даже и сорок. Почти все женщины острижены, как мальчишки, затылки «под ноль», небольшие чубики надо лбом. «Боже, что за нелепая мода!» – думаю я, а мой тринадцатилетний двойник и не смотрит ни на кого, кроме Роз, и она ему кажется самой прекрасной на свете. Он с замирающим сердцем касается ее руки, и меня вдруг пронизывает такое острое чувство – смесь ужаса и наслаждения, – что я вздрагиваю. В то же время я – теперешний – ощущаю, какая сухая, загрубевшая кожа у Роз, как выступают узловатые суставы на ее руках, слышу, что от нее пахнет смесью перца, корицы и дешевых приторных духов... Я морщусь от этого странного букета – и в то же время замираю от восхищения.

Все-таки очень странно... У меня всегда была хорошая память, даже очень хорошая, с самого раннего детства. Я поражал отца и Женевьеву тем, что помнил самые неожиданные и для меня даже не вполне понятные сцены и разговоры, о которых они, взрослые, давно забыли. Иногда бывало, что мотив какой-нибудь старой песенки или повеявший внезапно запах – особенно запах, у него наибольшая власть воскрешать прошлое! – вызывал в памяти целые картины, будто забытые. Но никогда не было таких странных воспоминаний, в которых я действительно помню или, вернее, ясно вижу то, чего никогда не помнил и даже толком не видел, хоть и смотрел. Вот и это, с маленькой Роз. Ведь я будто из зрительного зала смотрю фильм, героя которого играю я сам. И его ощущения соседствуют с моими. На что это похоже? Ведь это... да, больше всего это напоминает опыты с электродами, вживленными в мозг... или не обязательно вживленными, а только наложенными на череп... Но просто так, ни с того ни с сего... или все же эта проклятая радиация проникает сюда, хоть и в меньшей дозе, и мы, по-разному испытываем на себе ее воздействие? Да и как она может не проникать, ведь это обычная виλλα, ничуть не похожая на атомное убежище.

«Боже, как это трудно! Его психика целиком настроена на трагический лад. А кроме того, он, как и положено ученому, старается докапываться до сущности явлений... А я устал до того, что... Нет, ничего не поделаешь, надо тянуть дальше...»

Откуда, откуда эта странная уверенность, что твоя воля, влияние твоей любви может противостоять всемирной гибели? Какая нелепость, если вдуматься! Ведь когда я спорил с Робером, речь шла совсем не об этом. Мы часто спорили в последнее время, и больше все об одном. О том... – ну, как бы это поточнее выразить? – о том, что должен делать человек, каждый отдельный человек, видя, что мир стоит на краю гибели. А в том, что мир стоит перед катастрофой, я убеждался с каждым днем все прочнее. Начиная с Хиросимы. Испытания в Бикини и трагедия японского рыболовного судна, Корея и Алжир, пластики наших «ультра», Вьетнам и расправы с неграми в Америке – все это были звенья одной цепи, симптомы одной и той же смертельно опасной болезни, поразившей человечество: разобщенности, взаимного непонимания и недоверия. Мир гибнет от этой разобщенности, и его не спасти никакими, пусть тысячу раз правильными призывами. Только внутри человека может родиться сопротивление, только любовь и дружба помогут преодолеть недоверие и бессмысленную вражду.

Робер высказывался в том же духе, что и всегда: совместные усилия... если парни всего мира... и так далее. Я от него это еще в лагере слышал. Он называл меня индивидуалистом, эгоцентриком, эгоистом – ну, словом, выдавал весь набор интеллектуальной ругани по адресу таких, как я. А я говорил, что нет ничего более ненадежного, чем все эти мифические общие цели в нашем разобщенном и враждующем мире. Людей труднее всего заставить действовать во имя общего блага, это давно было известно. А сейчас тем более: ведь сейчас понятия о добре и зле так противоречивы и опасно запутаны, как никогда еще не бывало в истории человечества. Я не философ и не политик – не в том смысле, что я не интересуюсь философией и

политикой, а в том, что не претендую ни на какую самостоятельность в решении мировых проблем. У меня для этого не хватает и теоретических познаний и практического опыта. Я много читал и много пережил, это верно, но не изучал этих предметов специально... ну, в общем об этом не стоит даже распространяться. Просто я не гений, я обычный, рядовой житель планеты Земля. И я вижу, что эта моя любимая прекрасная Земля вот-вот превратится в радиоактивную пустыню.

Я, Клод Лефевр, рожденный накануне первой мировой войны и участвовавший во второй, песчинка, былинка, муравей, – что я должен делать, чтоб помешать чудовищной и бессмысленной катастрофе? Я вижу, что политики никак не могут договориться друг с другом, а опасность все растет, и в любую минуту можно ждать катастрофы. Что мне делать? Я не могу спасти мир, я не бог. Но я думаю, что можно спасти хотя бы часть человечества от гибели...

– И ты это можешь сделать один? – спрашивает Робер; я отчетливо слышу его голос.

– Да, на своем участке я один. Пусть каждый обеспечивает свой очаг сопротивления, свой участок. Если все или хотя бы многие сделают так, бой за человечество пусть не будет полностью выигран, но и не приведет к бесповоротному поражению и всеобщей духовной гибели. Мир можно спасти не мифическими «совместными усилиями», этим бумажным копьем, нацеленным в пустоту, а чувством личной ответственности за свое конкретное дело. Я здесь стою, я отстаиваю этот пункт, этих людей, за которых отвечаю и с которыми связан.

– Нелепость! – восклицает Робер. – Психология рядового, который убежден, что в штабах ничего не смыслят.

– А ты уверен, что там смыслят?

– Не очень уверен. Но одни рядовые никогда не выигрывали войну, даже если каждый из них до конца отстаивал свой участок фронта. Они отступали или погибали. Но не побеждали.

– Я не хочу сдаваться без боя. А вести бой в масштабах фронта не могу. Я отвечаю только за свою огневую точку.

– Да это у тебя не бой! Это уход от боя! Какая там огневая точка – просто ты рекомендуешь всем спрятаться в свои дома и носа не высовывать. И вдвойне лицемеришь: ну, у тебя есть телепатическая связь с близкими, но ведь ты же знаешь, что у других такой связи нет. Допустим, ты спасешься, и Констанс, и дети, ну, а другие?

Воспоминание это – или разговор продолжается сейчас? Ну, конечно, что это со мной? Робер сидит тут, рядом со мной, в библиотеке, и на его лицо падает тот же мутный, злобный свет сквозь пыльные стекла.

– А я и не заметил, как ты вошел, – неуверенно говорю я и вдруг чувствую странную усталость. – Может, я спал?

– Да, ты спал. И говорил во сне, – подтверждает Робер. – Ты и во сне продолжаешь спор со мной.

– Я все время об этом думаю. Да и что удивительного!

– Как ты считаешь теперь: ты победил в этом споре? – глядя на меня в упор, спрашивает Робер.

У меня такое ощущение, будто громадная тяжесть навалилась мне на грудь и на голову. Я с трудом выговариваю:

– Я не знаю, можно ли назвать это победой. Я не того ждал. Я и сейчас не понимаю, почему мы все живы.

– Ты перестал верить в свой дар?

– Не в этом дело... То, что сейчас происходит с нами, не имеет ничего общего с телепатией...

– Имеет. Другого объяснения ведь нет. Значит, ты сам не понимаешь границ своих возможностей. Ты же не захотел заниматься теорией и знаешь лишь то, что дал тебе личный опыт. А личный опыт всегда ограничен, даже у тебя.

«В самом деле, – опять думаю я, – что мы знаем о телепатии, тем более в таких необычных условиях? Кто мог бы заранее предсказать, как очень прочная и глубокая телепатическая связь, возникшая в нормальных условиях, будет проявляться в условиях совершенно исключительных, небывалых, в абсолютно изменившейся среде, свойства которой, в свою очередь, не изучены (да и будут ли когда-либо изучены)? Да, необычные, чудовищные, невообразимые условия! Дело даже не в том, как влияет на нас радиация (хотя она не может не влиять, я в этом убежден), а прежде всего в нашем безграничном, безнадежном одиночестве, в том, что мы – крохотный островок жизни, чудом уцелевший среди океана тьмы и смерти... Надолго ли, кто знает?»

– Но рассуждай же спокойней и логичней! – снова вмешивается Робер. – Почему бы не быть другим «островкам»? Хотя бы и на телепатической основе? Разве мало на свете людей, которые занимались телепатическими опытами и в то же время были глубоко связаны любовью или дружбой с другими? Наконец, в Индии – там ведь йоги проделывали поразительные опыты: обходились подолгу не только без пищи и воды, но и без кислорода. Почему бы им не научиться противостоять радиации?

– Йоги... возможно... – неохотно отвечаю я. – Но Индия так далеко...

– А может, рядом с тобой, во Франции, есть люди, которые успели достичь того же, что и ты?

Все так же льется пыльный, мутный свет из высокого окна библиотеки. Я вижу перед собой смуглое, резко очерченное лицо Робера, его блестящие карие глаза. Но мне трудно шевельнуться, я лежу в кресле, словно скованный невидимыми цепями. Я пытаюсь встать и не могу. Что со мной?

– Вспомни еще, – говорит Робер, пристально глядя на меня, – недавно мы с тобой читали об этом загадочном острове Ниуэ, где люди издавна, а может, извечно живут и благоденствуют при убийственно высокой степени радиоактивности. Они высокие, сильные, красивые, у них рождаются здоровые, полноценные дети. Кто знает, может быть, есть люди, от природы способные переносить радиацию. Наверное, их немного, – но, может быть, больше, чем можно предположить а priori? Достаточно для того, чтобы не дать человечеству исчезнуть с лица земли?

– Возможно... – бормочу я. – И что же? Ждать? Терпеть? Надеяться?

– Твоя задача, – Робер не спускает с меня глаз, и мне кажется тяжелым, материально весомым этот неподвижный пристальный взгляд, – твоя задача состоит именно в том, что ты раньше наметил для себя: отвечать за свой участок. Если ты сможешь уберечь всех нас, отстоять этот опорный пункт, бой будет выигран.

– Но почему? – вяло протестую я. – Откуда у тебя уверенность в том, что есть другие, есть надежда для человечества?

– А ты сам? – не отводя от меня своих тяжелых глаз, спрашивает Робер. – Разве ты сам в это не веришь?

На минуту я совершенно отчетливо ощущаю, почти вижу: Робер знает нечто крайне важное, скрытое от меня. Я вздрагиваю, пораженный этим ясным, безошибочным ощущением, мне хочется спросить: «Что же это?» Но Робер вдруг ласково улыбается, проводит рукой по моему лбу, говорит:

– Ну что ты? Что с тобой? Успокойся! Тебе надо заснуть!

Я все еще ощущаю это его загадочное знание. Я успеваю даже подумать: «А вдруг эта занавеска там, в доме на холме...» Но потом все мысли смывает сладкая, блаженная усталость. Я засыпаю мгновенно. Я слишком устал.

Когда я просыпаюсь, передо мной сидит Валери. Должно быть, я спал недолго – солнце стоит так же высоко, и тот же мутный желтоватый свет заполняет комнату, – но чувствую я себя отдохнувшим и свежим. Я легко встаю с кресла.

– Валери, – говорю я, – как хорошо, что ты пришла! Я уж беспокоился, что так долго тебя не вижу.

Валери поднимает на меня свои продолговатые блестящие глаза. Она очень бледна.

– Клод, – говорит она и слегка откашливается, будто в горле у нее что-то застряло, – Клод, я поняла, что сделала ошибку. Я не должна была...

Мы с Валери всегда понимали друг друга с полуслова. Настоящей телепатической связи у нас не было, но мы знали друг о друге все, как знают очень любящие, очень близкие люди. Мы поперебой высказывали одну и ту же мысль одинаковыми словами, и это нас всегда смешило и трогало. Мы безошибочно угадывали все оттенки настроения друг у друга. Ни со мной, ни с Валери не случилось несчастий за те четыре года, что мы прожили вместе, но думаю, что, если б с одним из нас случилось что-либо плохое, другой немедленно почувствовал бы это.

Долгая разлука оборвала эту связь, казавшуюся нерасторжимой. В начале, в армии, были хоть письма... письма моей Валери, такие отчаянные и нежные, что я потихоньку плакал по ночам – от любви, от тоски, от мучительной тревоги за нее, такую одинокую, такую беззащитную и хрупкую... Я думаю, что способности к телепатии пробудились у меня прежде всего под воздействием этой непрестанной тревоги, тоски, страха за Валери. Когда я попал в плен, наша переписка оборвалась... Я тогда не понимал почему – ведь других разыскивали через Красный Крест, слали письма, посылки. Потом, после войны, я узнал: Валери была убеждена, что я погиб, ведь ей это рассказывал Анри Дювернуа, который видел своими глазами, как снаряд разорвался на том месте, где я стоял. Это было почти правдой – только я за секунду до разрыва успел нырнуть в индивидуальный окопчик, очень аккуратно отрытый; меня, правда, оглушило и присыпало немного землей, но я даже не терял сознания, хоть долго не мог выбраться из окопчика – так меня трясло. Ну, а потом сразу немцы зашли с тыла, мы начали поспешно отступать на север; еще полторы недели боев – и 23 мая я уже оказался в плену.

И вот тогда, не получая вестей от Валери, терзаясь горем и сомнениями, я начал *видеть*. Помню, что меня это даже не особенно поразило – должен же я был каким-то образом знать, что с Валери, не мог же совсем оборваться контакт с ней, которая была частью меня самого! Значит, любым путем... Меня огорчало лишь одно – что я вижу Валери редко, мало, не успеваю узнать о ней ничего, не могу спросить ее ни о чем.

Началось с того, что в сентябре 1940 года я сидел у окна барака. Сеялся мелкий серый дождик, быстро смеркалось. Я неподвижно глядел на маленькую продолговатую лужицу под окном – она слегка рябила от дождя, в ней отражался неяркий свет фонарей над воротами лагеря, – и вдруг все отодвинулось, я увидел Париж и Валери.

Вначале мне это было необходимо – сидеть и глядеть на что-то блестящее либо лечь и скрестить руки на груди, плотно переплетя пальцы. Потом я научился сосредоточиваться почти мгновенно, одним усилием воли, не прибегая ни к каким дополнительным средствам.

Итак, я увидел Валери, освещенную ясным вечерним светом. Она медленно шла по набережной Анатоля Франса. Мы с ней часто там ходили – дом наш был неподалеку, на улице Сольферино. Я хорошо видел ее лицо, она шла прямо на меня. Валери похудела, побледнела, в глазах у нее было незнакомое мне отрешенное выражение, будто она стояла на краю пропасти и уже решила прыгнуть вниз. У меня сердце сжалось, я крикнул: «Валери! Валери!» Видение сейчас же исчезло. И вдобавок мне влетело от часового-немца за то, что я ору как сумасшедший.

Снова мне удалось увидеть Валери очень не скоро, лишь весной. Она тогда, вероятно, уже была замужем, но я этого не понял из минутного видения. Валери сидела в нашей комнате и тревожно глядела в окно. Меня удивило, что она хорошо причесана, что на ней красивый синий свитер, незнакомый мне. Удивило и огорчило, хотя я тут же обругал себя за эгоизм.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.